Шолохов М.

24.05-91



# Завтра в станице Вешенской открывается «Шолоховская весна»

1

То чувство ответственности писателя перед читателем, которое (не побоюсь несколько высокопарного выражения) буквально водило пером отца всю его жизнь, основывалось на глубокой вере в силу художественного слова.

Говоря так, я рискую вызвать недоуменный вопрос: «А разве хоть кто-нибудь из писателей взялся бы за перо, не исповедуй он этой веры, не питай он надежды, что его слово властно воздействует на души людские?»

Да, конечно, это так. Но мне хотелось бы заметить, что если молодой писатель низко стоит в писательской «табели о рангах», то прежде чем быть услышанным читателем (и для того, чтобы быть услышанным им), он должен решить сложную и подчас весьма щекотливую задачу — добиться, чтобы его «услышали» критик, редактор, издатель. Сколь много сейчас публикаций, на которых несводимой печатью оттиснуто это стремление автора угодить тем, кто владеет правом решать, появится ли на титульном листе его творения заветное: «В печать».

От множества причин и случайностей, условий и условностей зависит путь писателя к широкому читателю. Чем длиннее и труднее этот путь, тем больше подстерегает на нем писателя опасностей «перепутать» в конце концов адреса — забыть о читателе и всю свою литературную работу построить из расчета на издателя. И разве так уж редко именно этим путем писатель приходит к тому, что вместо «разумного, доброго, вечного» становится готовым сеять в душах читателей и неразумное, и злое, и сиюминутное, лишь бы заявить о себе, лишь бы обрести известность (хотя и Геростратову).

Перед отцом к тому времени, о котором я веду речь, не стояла проблема выхода к читателю, поэтому его и волновал совсем иной вопрос, который я здесь и затрону.

Мне хотелось бы начать издалека, с «лирического отступления», рисующего эпизод, когда отец впервые поделился со мной своими раздумьями о специфике писательского труда, своими мыслями об особенностях восприятия человеком реальной жизни и печатного слова. Было это очень давно, где-то в конце 50-х годов, на берегу Хопра. Перед вечером наша «артель» собралась у рыбацкого костра, и все, покатываясь от хохота, слушали Спиридона Никифоровича Выпряжкина, старого казака, участника гражданской и Великой Отечественной войн, прекрасного, остроумного рассказчика, способного хоть ночи напролет повествовать о своих, как он говорил, «прохождениях».

2

— И вот, стал быть,— рассказывал он,— собрали нас всех, кто коней потерял, построили и пешим порядком пошти от самого Царицына — на Дон домой. Степь голая, жарища — спасу нет, красные на пятки наступают. А я ноги так побил, что итить но никак не могу. Хучь криком кричи... Да и что с нас взять тогда было, с таких вояк, как я? Годков по шешнадцать, по семнадцать было... Выгреб это я кое-как из строя, сел сбочь дороги. Делаю вид, что переобуваюсь, а сам себе думаю: «Да нехай меня эти красные досмерти казнят, не пойду дальше». А сотник наш, щеголевастый такой, хлыщеватый, вредный до невозможности и злой — страсть кобель цепной, да и только. Боялись мы его дюжей, чем красных. Из всех нас один верхи едет. Повернулся, гад, в седле, увидал меня. «Не отставать!» И стеком своим — стек у него такой был, аглицкий, протковый,— стеком этим по голенищу эдак постукивает. Сапоги тоже аглицкие, голенища дутые, звонко этак получается. Курва заразная! До се вспоминать противно.

Ну и что ты будешь делать? Пропустил я почти всю колонну. Сзади—две брички. Весь наш обоз. На последнюю попросился, возьми, говорю, отец, меня, подвези хучь трошки, совсем подбился, итить не могу. А ездовой, старый казачура, бородиша—один нос да глаза из нее торчат, серьга в ухе: «Ты, погляди, грит, такой молодой, а уже такой ушлый. Сопля соплей, грит, а хитрей всех хочет быть. Топай, грит, куга зеленая, а то я тебя сычас кнутом как потяну, так ты у меня впереди всей колонны побежишь. А об том, чтоб сесть, грит, так тебе ишо с неделю и мысля такая в голову не придет. Я, грит, таких ранних дюже не люблю».— «Ну, ежели так, говорю, так ты мне и вовсе не ндравишься. Такой старый, а весь в бороду ушел, и ума ишо чисто никакого. Ить кабы был у тебя какой-никакой умишка, знал бы, что ежели и тебя твоим кнутом перепоясать, так и ты бы полетел, как молодой, аж бороду свою на верблюжачьих колючках поразвесил бы». Эх, как он сиганул с брички да за мной с кнутом. А кнутяка у него! Ну, конешное дело, на время я про ноги свои призабыл. Шли мы прямо сбочь железной дороги, так я от него, от дурака старого, на насыпь, чисто заяц, высигнул.

Давая слушателям возможность отсмеяться, Никифорович время от времени замолкал, то

3

потягивал чаек из кружки, то, выхватив из костра уголек, раскуривал потухшую папироску, собирая трубочкой расползающиеся в улыбке губы, пряча чертиков, бегающих в светлых глазах, потом, чутьем умелого рассказчика уловив подходящий момент, перебрасывая со слушателя на слушателя ищущий одобрения и веселого соучастия взгляд.

— И что бы вы думали? По другую сторону дороги — верблюды. С нашей-то стороны их через насыпь не видать было. А как на насыпь-то я влетел — вот они, ходют, лежат, прямо рядом. А надо сказать, раньше я их один раз всего и видал. Да и то далеко-далеко, черти где в степе. Казак один бывалый показал,— гля, грит, Спирька, во-о-он верблюды. Погляди, домой придешь, хвалиться будешь, что верблюдов видал. А тут — в десяти саженях лежит один, агромадный, собой страховитый. Сердито так на меня воззрился, жвачку жует. Шишки на спине здоровенные, посвесились одна на один бок, другая — на другой. И вот ить шчука какая. Хучь и страшновато вроде, а только сразу же появляется у меня мечта: а ну как сесть на него? Прямо-таки одолевает меня антирес прокатиться на нем. А тут, опять же, ноги... Да тудыть твою!..— думаю. Нешто я не донской казак?! Понимаешь, ноги посбивал, пеши шкандыляет, а эта скотиняка лежит тут, прохлаждается на воле. Ну, думаю, кому война, а кому мать родна? Зараз я тебе покажу, как во время военных действиев прохлаждаться. Я тебе покажу казачью ухватку!

Бочком, бочком подхожу к нему помаленьку. Брехать не буду — опасаюсь. Да оно хучь кому доведись, страшон ить обличьем — не приведи господи. Голову эдак задрал, чисто барин, ни дать ни взять—наш есаул. И глаз с меня не спущает. И обратно же,— точно, как есаул: вроде бы и глядит на тебя и тут же вроде бы и в упор не видит. Ну, само собой, я тоже глаз с него не спущаю, и, нечего греха таить, отступление себе, на всякий случай, намечаю. В насыпи тут как раз дыра недалеко, труба вставлена, для стека воды, похоже, так, случай чего, думаю, я туда не хуже мыши юркану.

Подошел в упор, говорю ему всякие добрые слова. Хучь, думаю, он, может, ни хрена и не понимает, но по голосу должон уразуметь, что зла я ему не желаю. Лежит. Но жевать перестал. Шишки ему почесал, за шею трогаю. Лежит, а шеяка длинная. Ежели сяду, думаю, он меня очень даже просто зубами за ногу

4

достать могет. А уж тогда со спины сдернет и непременно сожрет. Или ногу откусит. Но, опять же, глаза, вижу, не злые, скорей даже, вроде бы, добрые и аж грустные, вроде бы. Снял это я с себя ремень, портупей с шашки, чевой-то вроде уздечки сгондобил, в обчем, кое-как то ли взнуздал, то ли знальгал его. Он, надо сказать, не дюже и противился. Обслюнявил мне только и рукава, и ремень... Вот, промежду прочим, слюней-то! Братцы мои! И на што ему столько? Ить, ни у одной скотиняки столько нету. Не знаю, правда, ай нет, можа и брешут, но гутарють, что ежели он со всего дыху харкнет, так хрен на ногах устоишь. Правда это, ай нет, как ты считаешь, Михал Саныч?.. Ну я так и думал, брешут люди. Он, ить, какой народ пошел, что ни ступнет, то брехнет. Ну да ладно, Бог с ним.

Да, так вот. Осмелел я, стал быть. Перекрестился это и, Господи благослови, всигнул на него прямо промеж шишек. Как реванул он тут дурным голосом и зачал вставать. Ну, думаю, зараз он меня жрать зачнет. А сам-то все-таки уздечкой этой своей норовлю им править, и ногами вцепился в него клещом. Гляжу — ничего, пошел родимый. Только прет, паразит, не туды, куды мне надо, а прямиком от дороги в степь и аж вроде бы назад, к красным. Куды ж ты, сукин сын, прешь? — ору.— Зачал это я ремень туда-сюда через голову перекидывать, тянуть влево, вправо. И что вы думаете? Слушается, чертяка, поворачивает. Ах ты разродимый ты мой, думаю, какая же хорошая да понятливая животина. А сам уж по- сурьезному пятками его, шпоры, стал быть, поддаю.

И пошел он рысью. Только ревет так, что на мне аж волосья подымаются. Да как зачал меня своими шишками тереть, я аж сызнова перепужался. Сотрет, думаю, зажмет сычас промеж этих своих горбов, зашемит так, что и не выскочишь, и раздавит, перетрет, как жерновами, к чертовой бабушке. Потом прибык трошки, и, что бы вы думали, когда б аж не ловчее, чем на лошади. Глазом моргнуть не успел, как впереди всей сотни оказался. Пока приноравливался, не до того было, чтобы по сторонам-то любопытствовать, а когда повольготней себя почувствовал, через насыпь глаз кинул, а я уж есаула своего догнал. И вижу, что он, гадюка, на меня из-под ладошки воззрился. Только одни мы с ним друг дружку и видим — он с коня, а я — с верблюда, я его — по грудь, и он, стало быть, меня так же. И вот

5

гляжу, посылает он кого-то посмотреть, что же это за чуду он увидал? Сам-то, поганец, боится, похоже, а ну-к, это неприятельский разъезд.

И вот показывается на насыпи ни кто, как мой хуторянин, односум мой, увидал меня, заиржал, как жеребец, и орет своим: «Ребяты, гля, чего Спирька Выпряжкин вытворяет! На верблюде жигитует!» Ну тут, как ни уморились, а чуть не вся сотня на насыпь выкинулась. И что тут началось! Регочут, улюлюкают. «Во, как надоть,— односум это мой орет,— не имей умную голову, а имей хитрую ж... она все одно найдет, на что сесть. Знай наших, громковских!» Развеселились, поганцы.

Только тут вылетает на насыпь есаул. «Строй не ломать, так-перетак! С марша не сбиваться, так как и ишо эдак!» Сбесился прямо от злости. Одного стеком своим—через спину, другого. «Казак Выпряжкин! Спешиться! Ко мне! Бегом!» Эх, ты, Господи, думаю. Ну у кого чего убыло от того, что я еду. За что же ты меня наказываешь опять битыми своими ногами степь эту ненавистную перемерять. Сполз это я со своего верблюда — еле остановил его, проклятого,—прихромал к есаулу. Шашка в руке, гимнастерка в слюнях, ремни все в слюнях верблюжачьих. Ну он, понятное дело, с коня не слезая, стеком этим своим — по морде меня, по морде... Вот так вот! А все ж таки казак Выпряжкин на верблюде прожигитовал!

Заканчивая свой рассказ, Никифорович помолодому вскинулся, задрал нос, расправил плечи и, сдвинув на ухо свою кепчонку, руки — в боки, принял такую ухарскую позу добра молодца, что все мы раскатились неудержимым смехом.

В моем изложении его рассказ может не произвести соответствующего впечатления. Но нас Никифорович заставил смеяться весело и от души, и поэтому, когда я перевел взгляд на отца, я слегка оторопел. Он тоже смеялся. Но смеялся сквозь слезы, через слезы, которые едва-едва сдерживал.

Покашливая и пряча от присутствующих лицо, делая вид, что в глаза ему попал дым от костра, отец резко поднялся и, отойдя к берегу, остановился на обрыве.

Немного обождав, я подошел к нему и молча уселся рядом.

— Вот так, сын,— заговорил отец.— Учись, атаманом будешь. Какой же неистребимый народ! Представляешь, как иной мог бы подать эту историю? Сколько было бы здесь проклятий, слез, жалоб, сколько жалости к себе и злости на других, сколько обиды на судьбу и на все на свете, начиная от жары и кончая сапогами. А с есаулом эпизод? Это же находка! Да вокруг этого такого можно накрутить-навертеть!..

6

Какая же огромная разница между восприятием одного и того же события разными людьми. Вот тебе наш Спиридон. Ты ведь знаешь его жизненку. Уж как он этой жизнью мятый, тертый, битый-перебитый. А посмотри на него. Попробуй-ка его из седла вышибить. Сколько он сохранил в себе любви к жизни! Сколько умения радоваться ей, терпеливо, мужественно, даже с веселинкой переносить все, что бы она ни преподнесла. А возьми какого-нибудь интеллигента-хлюпика. Он и лиха-то настоящего не знал, а случись — мелочь какая-то житейская выбьет его из привычной, комфортной обстановки, он уже готов чуть ли не весь мир проклясть. И мало того, что сам в нытика превратится, так еще и вокруг себя всех заразит своим недовольством... Вот и попробуй тут, напиши так, чтобы тебя и тот, и другой правильно поняли...

Затрудняюсь даже сказать, чем и как при подобных разговорах отец заставлял меня адресовать сказанное им себе, принимать на себя. То ли раздумчивостью интонаций, то ли взглядами и жестами, то ли неторопливостью речи, как бы приглашающей к размышлению, то ли построением многих фраз в какой-то полуутвердительной-полувопросительной форме — не знаю. Но только и в этом случае я невольно начал определяться, к кому же, к какому сорту людей принадлежу я сам — к первым или последним. Придя к невеселому для себя выводу, что скорее все-таки к последним, я угрюмовато буркнул:

— Конечно. Не все же одинаково толстошкурые.

— Э-э-э, нет, сынок. Упрощаешь. Примитивно рассуждаешь. Одной тонкостью интеллигентской натуры и, как ты изволил выразиться, толстокожестью простого человека этого не объяснишь. Нет, брат. Тут дело в ином. Тут само отношение к жизни совершенно разное... Старых людей религия и просвещала, и жить учила, и отношение к жизни у них воспитывала. Жизнь — от Бога, власть — от Бога, жизненный порядок — от Бога. Бог дает, Бог и берет. Что Бог ни дает — все к лучшему. Господь терпел и нам велел... Пусть это теперь кажется наивным, невежественным, даже реакционным.

7

Назови это опиумом. Назови, как хочешь, и пусть даже в чем-то и прав окажешься. Но только это воспитывало в человеке отношение к жизни как к чему-то такому, чего переделать — тяп-ляп, и готово — никому не дано. Как к чему-то бесконечно прочному, устойчивому, несоизмеримому с человеческими силами и возможностями.

Непротивление? Животная пассивность, рабская психология? Может быть, может быть. Но я не об этом. Хотя и не отнесу здравое смирение к более низкому сорту человеческих качеств, чем непримиримость или бунтарский дух. Я—о другом. О том, что это создавало своеобразный психологический настрой, при котором у человека и не возникало обиды на жизнь. Ну есть ли смысл обижаться на природу? На то, скажем, что она пришла с зимой, когда тебе хочется лета? На то, что она разразилась дождем, когда тебе нужна ясная погода? Ты же не обижаешься, думаю, не злишься на Хопер за то, что сегодня не то что хвоста рыбьего, а и поклевки хорошей не увидал? Наоборот, ведь, думаешь: «Эх, паршивый я рыбачишка оказался, надо квалификацию повышать».

Так и здесь. Человек с детства учился стойкости, приучался винить в своих неудачах самого себя, а не жизнь, если уж обижаться, то на самого себя, а не на внешние, неподвластные ему обстоятельства. Понимаешь, мне кажется, только на какой-то подобной почве и может расти духовно здоровый человек — не неврастеник, ни в чем не находящий удовлетворения и покоя. Помнишь, у Лермонтова? «И все было так тихо на небе и на земле, как бывает на сердце человека в минуты утренней молитвы». Каково сказано! Представляешь, даже такая молодая, мятущаяся душа и та обрела тишину и покой, становясь причастной к чему-то незыблемому, вечному, неподвластному человеческим прихотям — ни временам, ни нравам. По крайней мере к тому, что ей казалось таким.

Солнышко только-только село, и на реке, на ее берегах, «на небе и на земле» улеглась та же тишина, воцарился тот же покой, свидетелем которых был когда-то герой лермонтовского времени. Я чувствовал, что отец тоже стал помаленьку успокаиваться, голос его начал оживляться, все более освобождаясь от глуховатых, грустных тонов.

— А знаешь, к стыду своему должен признаться, что по-настоящему серьезно я задумался над всем этим во время недавней поездки в Скандинавию. Нет, нельзя сказать... Конечно, и раньше где-то в глубине души я понимал... Но именно в глубине... А тут... Возраст, наверное. И эпизод-то, который повод дал... Сидели в ресторане, за званым ужином. Устроитель его, мой издатель, заказывает какое-то вино. Официант приносит бутылку и — как все полагается — прежде чем налить, отворачивает край салфетки, которой она была обернута, и показывает мне этикетку. Ну ты знаешь, какой я ценитель тонких вин, посмотрел мельком, кивнул и отвернулся к собеседникам. Официант бутылку тут же снова завернул в салфетку, разливает по бокалам вино, а у меня прямо-таки, как врезанная, стоит перед глазами этикетка, фирменный герб на ней и под ним: «Фирма основана в тысяча семьсот таком-то—не помню уже точно, каком именно, году». Позапрошлый век!

8

И ведь, скажи ты, как будто раньше ничего подобного не видел... И стал я невольно, как-то автоматически отмечать: спички, сигареты, пиво, сотни вещей, и серьезных, и даже чепухи всякой производится фирмами, созданными века тому назад. Смотрел ведь на храмы, замки, дворцы, памятники, которым по полтысячи и много более лет. И только древностью своей они меня и поражали. А тут... Глянешь — обыкновенные дома. Рядовые жилые дома. А на фронтонах — тысяча восемьсот... тысяча семьсот... И понимаешь, как скажи, глаза у меня прорезались. До этого все думал, ну, почему у них люди, в подавляющем большинстве, более спокойны, чем наши, менее суетливы, более доброжелательны, неспешно-рассудительны. Больше у них самоуважения, уверенности в себе, чувства собственного достоинства, собственной значительности. Да ведь на девяносто девять процентов—от этого. Стоял этот дом, основали эту фирму триста лет тому назад. Стояли они и двести лет тому назад, и сто. Стоят и сейчас. И есть у меня все основания считать, что и дальше будут стоять столько, сколько хозяин захочет.

Понимаешь, ведь все это обязательно должно создавать какой-то здоровый общий психологический настрой, поддерживать в человеке спокойствие, чувство защищенности и от людского произвола, и от всяких там превратностей судьбы. Да одно уже сознание того, что вот я, скажем, умру, а все это как целое, прочное, неподверженное времени, будет жить и жить, и останется такой же твердой почвой

*М. М. ШОЛОХОВ*

# РАЗГОВОР С ОТЦОМ

***Сегодня, 24 мая, день рождения великого советского писателя Михаила Александровича Шолохова... А завтра на его родине, в станице Вешенской, начнется традиционный праздник «Шолоховская весна».***

***Михаил Михайлович Шолохов, младший сын писателя, живет и работает в Ростове-на-Дону. Кандидат философских наук, руководит работой Ростовского факультета Всесоюзной высшей юридической школы МВД СССР. Минувшей осенью его выбрали атаманом области войска Донского.***

***В пятой книжке литературно - художественного и общественно-политического журнала «Дон» будут опубликованы фрагменты книги М. М. Шолохова о своем отце.***

***Знакомим читателей с отрывками будущей книги, предоставленными редакции журналом.***

НА СНИМКЕ: Михаил Александрович и Михаил Михайлович Шолоховы. Станица Вешенская, 1968 г. (Из архива фотокорреспондента газеты «Молот» Б. Каралкина).

9

под ногами моего сына,— одно это даст мне возможность умереть спокойно. У человека, хочет он того или нет, одним этим, без всяких словес само собой воспитывается уважение и к отцам, и к детям. Потому что он знает, что как он с гордостью перенял вековое дело своих отцов, так и его сын с гордостью поведет это дело дальше. И пусть все-то и дело — производство каких-нибудь спичек... Любовь к традиции воспитывается. Вдумчивая осторожность к новшествам. Новое как бы врастает в старое. Старое вбирает в себя новое.

Скажешь, не все так красиво и ровно, как я говорю? Конечно. И тем не менее... А у нас теперь, думаю, ничего подобного вообще быть не может. Позавчера — одно, вчера — другое, а сегодня каждый уже знает, что завтра будет четвертое. Как иной алкоголик, с каждого понедельника новую жизнь начинаем. А на неделе — по семь понедельников. Ничего устойчивого, ничего прочного. ТОЗы — колхозы, колхозы — совхозы, МТС — РТС... И ни конца, ни краю не видно. Ничего, к чему человек успел бы привыкнуть, приспособиться, ничего, что он успел бы приспособить к себе, отладить, довести до кондиции. Вместо того, чтобы совершенствовать старое, то есть что-то раз созданное, раз организованное, мы, наоборот, кажется, все делаем, чтобы его развалить, сделать нежизнеспособным, неприемлемым и в конце концов ненавистным для людей. Потом все ломаем. До основанья. А затем? А затем — все сызнова. И ведь ничего в соответствии с действительными нуждами, с людскими чаяниями. Все какое-то надуманное, искусственное, с заоблачных сфер опущенное. Выросший в таких условиях и способный здраво рассуждать человек неизбежно издерган и — при нормальной психике — слегка неврастеник. Даже самое хорошее из того, что ты ему хочешь сказать, он способен воспринять как самое плохое...

— И об чем вы тут сумуете? — послышалось сзади, и, обернувшись, мы увидели подходившего к нам Никифоровича.— Михал Саныч! Брось ты эти сурьезные разговоры, ну их к черту совсем, скажи лучше Петру, чтоб он меня на мотоциклетке своей покатал. Ну, што ж я до таких годов дожил, помирать скоро, а на мотоциклете, как есть, ни разу не ездил. Прошу-прошу, а он уперся, как борозденый бык, и не хочет старика уважить. Говорит, что его мотоциклет мне годок и, ежели на нем вдвоем ехать, то либо мотоциклет развалится, либо я.

10

Накажи ему, пущай прокатит.

— Да, Михаил Александрович,— отозвался Петр, когда отец, рассмеявшись, тоже стал просить его «уважить старика».— Ей-богу, этот мотоцикл мой на ходу разваливается. Мне как лишний раз его заводить, так я лучше вашего Спиридона на собственном горбу прокачу. Хоть бояться не буду, что он свалится да убьется.

— Нужон ты мне! — мгновенно откликнулся Никифорович.— Тожа мне — рысак. Мне на мотоциклете антересно, а на своем горбу бабу свою катай. Ни хрена с твоим драндулетом не сделается. Во мне и весу-то, сколь в мартовском коте, осталось. А ежели и развалится, не много и жали. Мне ишо и спасибо скажешь. Он ить на тебе ездит больше, чем ты на нем. И за меня можешь не опасаться, не таких одров объезжал.

— Ну, черт с тобой,— засмеялся, соглашаясь, Петр.— Садись, «мартовский кот». Я тебя прокачу! Это тебе не на старых верблюдах разъезжать.

Подстрекаемый колкими насмешками Никифоровича, Петр долго дрыгал ногой, заводя мотор, пока его «ковер-самолет», как он называл своего старенького, битого-перебитого, маломощного «Ковровца», не заработал, наконец, заполнив все окрестности страшным тарахтеньем и клубами сизого дыма.

— Грому-то, вони-то! — стараясь перебороть треск мотора, не утерпел, «ввернул» напоследок Никифорович.— Можно подумать, чего и доброе. И откель только чего и берется.

— Ладно уж,— прокричал Петр.— Он и пассажир такой же. По Сеньке шапка, по едрене бабушке колпак. Садись, давай, пока я не передумал катать тут всяких...— поддерживая мотоцикл широко расставленными ногами, Петр, скособочившись, глядел на Никифоровича, ожидая, когда он усядется наконец на багажник. Повернувшись к нам лицом и подмигивая озорными, полными неуемного мальчишеского веселья глазами, тот указал круто оттопыренным большим пальцем через плечо на Петра.

— Видали, как нонче куга со стариками разговаривает? Как бы распрекрасно я бы его за эти самые слова в старое время выпорол бы! Ладно, я с тобой опосля погутарю, поганец! Поехали! — Никифорович лихо, по-казачьи развернул на голове кепчонку козырьком назад и, держась руками за плечи Петра, взгромоздился на самодельный багажник, сварен-

11

ный-склепанный из металлического прутка.

Сгрудившись у костра и задыхаясь от смеха, слезящимися глазами следили мы, как Петр, постепенно набирая скорость, повел мотоцикл по кругу, центром которого были мы. Специально, чтобы посильнее «растрясти» Никифоровича, он выбирал самые кочковатые участки.

— Эх, прокачу! — орал он, перекрикивая грохот своего без меры шумного — трескучего, дребезжащего, скрипящего, хлюпающего, скрежещущего всеми суставами и сочленениями — транспортного средства.— Держись, пенек старый, ежели не хочешь Ефимовну свою вдовой оставить!

— Дави-и-и! Гони-и-и! — выл в ответ Никифорович дрожащим от тряски, каким-то икающим голосом, надсаживаясь в попытке перекричать не только мотоцикл, но и Петра.— Мы с Ефимовной ишо на твоих поминках барыню спляшем!

Раскорячив и подобрав как можно выше тонкие, худые ноги, обтянутые трепещущими колошинами легких хлопчатобумажных штанов (не рассчитанный на пассажира мотоцикл не имел специальных подставок для ног), босой, кепчонка задом наперед, рубаха на спине пузырем, Никифорович подскакивал на багажнике, с частотой барабанной дроби стукаясь о его жесткие прутья по-стариковски сухоньким задом.

— О, господи! — простонал, давясь смехом, еще один член нашей «артели», Валентин Иванович.— Ну, кобель на заборе — ни дать ни взять. Не могу больше, сдохну сейчас со смеху.

Картина и вправду была настолько уморительной, что, когда Петр, подъехав к нам, заглушил мотор, мы едва стояли на ногах.

— Ну, как?! Знай наших! — заорал, слезая с мотоцикла оглушенный ездой Никифорович.— Мария Петровна,— повернулся к неудержимо хохочущей матери,— ну чего ты молчишь? Скажи, как геройски казак Выпряжкин на мотоциклете прожигитовал!

— Ну вот! — ахнул Валентин Иванович.— Этого не хватало. Он еще и оглох ко всему, дурак старый!

— А что ты думаешь? — живо отозвался Никифорович.— Тут не то, что оглохнуть. Тут от шуму, вони и тряски вовсе одуреть недолго. Истинный Христос! Я-то все мыслил, и чего это Петька вроде как с глупцой! А это он, стал быть, на машине на своей весь свой умишко-то растряс. Вот ить дерьмо машина! И кто только и за каким хреном придумать такую мог!

12

Только для таких дураков, как Петька. Да нехай он меня теперь хучь на коленях уговаривает, ни в жисть не сяду. Будь она трижды проклята вместе с глупым ее хозяином. Мне бы таперича ишо на ероплане прокатиться!

— И-и-и! Ну, чисто дите ты малое, Спиридон,— сокрушенно покачал головой Валентин Иванович.— Вот уж невинно говорит — старое да малое...

— А между прочим,— на фоне громкого общего смеха услышал я вдруг тихий голос стоявшего рядом отца,— в старом человеке, мне кажется, если и есть что хорошее, так это то, что он в себе от детства сохранил...

Мысли, по поводу которых отец затеял со мной прерванный Никифоровичем разговор, видно, не оставляли его, и, пользуясь тем, что все занялись чаем, отойдя к расстеленному на земле брезенту — нашему обеденному столу, отец вернулся к этим мыслям. Задумчиво следя за язычками огня, бегающими по головешкам едва теплившегося костра, он напомнил самое начало разговора:

— Вот, я заговорил о том, как по-разному воспринимают люди реальные вещи и события, реальную жизнь. А возьми ты печатное слово. Тут еще богаче. Ведь, читая одно и то же, всяк грустит своей грустью, смеется своим смехом. У каждого свои слезы и своя радость. Одни и те же страницы всяк прочитает по-своему. И все мы тут—немножко дети. Как дети, верим в то, во что хочется верить, принимаем то, что готовы принять, и отвергаем, что кажется нам неприемлемым. И как дети прячутся от опасности, закрывая ладошками глаза, так и мы иной раз боимся открытыми глазами глянуть на то, на что смотреть и страшно, и тошно...

Наверное, именно на этой, какой-то детскости и растет все... Помнишь... Что-то мне сегодня Лермонтов уже второй раз на память приходит... «Герой» его выходит к Крестовой горе, к каменному кресту, который, как все вокруг уверяют, установил Петр I. И знает он, что Петр никогда здесь не бывал и, более того, надпись есть на самом кресте, что установлен он генералом Ермоловым. Но легенда так укоренилась, а написанному, говорит он, мы так разучились верить, что уже и не знаешь, чему верить. Это — в то время-то... А сейчас? Тогдашнее слово и нынешнее — это, мне кажется, все равно, что тогдашний рубль и нынешний. Но это — одна сторона. А с другой, сколько людей готово верить написанному! Сколько

13

таких, что печатному слову поверят скорее, чем собственным глазам. И смешна вроде бы эдакая детская наивность. И... трогательна, черт возьми, чуть не до слез. Притом ведь прекрасно понимаешь, что без нее вообще никакая литература была бы немыслима. И в то же время... непростительна ведь для взрослых-то людей.

Я в последнее время, веришь?.. — Как бы удивляясь самому себе и подсмеиваясь над собой, отец, крутнув головой, коротко хмыкнул:— Просто... боюсь писать. И без того обстановочка... И без того у меня какая-то форменная идиосинкразия к перу и чистому листу бумаги, а как подумаешь... Как представишь, что только делается с легкой руки нашего брата писателя! Ведь с наших-то запевок все песни поются. С наших присказок сказки начинаются. И от нас же люди верой заражаются, что и рождены-то они на свет только для того, чтоб наши сказки делать своей былью... Руки опускаются, право слово.

И, стесняясь того, что позволил себе поддаться унынию при сыне, опасаясь еще больше расслабиться, отец улыбнулся, ободряюще похлопал меня по плечу и круто перевел разговор.

— Но каков Спиридон-то наш! — Потом, недолго задумчиво помолчав, вновь посерьезнел и с тихой грустью, с глубокой теплотой в голосе, как-то столь выразительно и проникновенно, что я почувствовал, как у меня вдруг побежали мурашки по коже, добавил: — Вот так подомрет, не дай, Бог, старик — опустеет ведь, осиротеет станица.

Около года спустя, читая в рукописи заключительные главы «Поднятой целины» — разговор Разметнова с Майданниковым, с чувством, с каким неожиданно встретишь старого доброго знакомого, я узнал уже слышанную мной фразу: «Ты примечаешь, Кондрат, как за это время страшно постарел наш дед Шукарь?.. Видать, скоро подомрет старик... Ей-богу, наделает он нам горя! Привыкли к нему, к старому чудаку, и без него вроде пустое место в хуторе останется».

...И до сих пор, через столько лет, вспомнив эти слова, а жизнь часто дает повод вспомнить их, я снова слышу живой голос отца, слышу его интонации, вижу его лицо, глаза, подернутые дымкой невеселых раздумий... И захлебнется вдруг сердце саднящей тоской, проваливаясь в черную пустоту, занявшую то место в моей душе, которое при жизни занимал он...

165